

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 15

Борьба продолжается (продолжение)

Пётр Палиевский после публикации статьи “К понятию гения” навсегда перестал быть автором “Нового мира”. В “приличном либеральном сообществе” в нём раз и навсегда перестали видеть “своего”. Особенно возмутила это “сообщество” оценка Палиевским популярнейших тогда романов братьев Стругацких “Трудно быть богом” и “Хищные вещи века”. Аркадий и Борис Стругацкие являли себя в этих и других произведениях как неистовые ревнители общественного прогресса (Аркадий вообще писал о коммунизме как обществе “людей-строителей, борцов” и утверждал, что “на солженицынских матрёнах коммунизм не построишь, не нужна нам подобная “деревенщина”). Палиевский наглядно показал, чего стоит этот “прогресс” в “стругацком” исполнении, приводя выразительную сцену из первого романа с участием главного героя Руматы Эсторского:

“... От тех, кто не понял светлых помыслов Руматы, осталось одно крошево... Не затрагивая философской стороны этих описаний, отметим одно: интересную степень ожесточения экспериментатора по отношению к “толпе”... Вопрос о гонимости среди таких страниц открывается обычно глубже предполагаемого...”

Сродни Румате и герой повести “Хищные вещи века”, а также сочувствующий ему шофёр, развозящий книги. При виде “мещанки”, озабоченной “датскими пикулями”, он с усталостью в глазах произносит сакраментальное: “Надо стрелять. Давить их надо, а не книжечки им развозить”. Точно оценив степень солидарности авторов с этими “благородными” персонажами, Палиевский приходил к неукоснительному выводу:

“Поневоле возвращается в современное обсуждение вопрос, не были ли представители этого типа “гонимой” гениальности, наоборот, самими свирепыми гонителями тех самых “этнографических старичков”, которые приводили когда-то к влиятельным людям разные юные дарования и на слова: “А что, хорошую музыку пишет этот мальчик?” — отвечали: “Отвратительную, но в этом будущее”. То есть не следует ли рассмотреть ещё раз первую половину их старонаивных определений, так как благородство их имело исторически последствия самые разнообразные.

Продолжение. Начало в №1-7,9 за 2019 год, 1-5,7-12 за 2020 год, 1-3,5,6 за 2021 год.

Тем более, что этот парадокс гонимости обнаружил странную неотделимость от новых гениев. Почему-то, добившись безответственности, которая прежним и не снилась, они никак не пожелали с гонимостью расстаться: она оказалась для них необходимее любых признаний”.

Палиевский покусился здесь на то, на что покушаться было не принято: на тождество “гениальности” и “гонимости”, утвердившееся к этому времени в сознании “приличного общества”. Тем более что пример, приведённый им, многое говорил знающим людям: мальчик, писавший “отвратительную музыку, за которой будущее” — не кто иной, как здравствующий тогда Дмитрий Шостакович, не расстававшийся с газетной вырезкой статьи “Сумбур вместо музыки”, словно ругань 1936 года грела его сердце всю оставшуюся жизнь (можно ли себе представить Анну Ахматову, хранящую в дамской сумочке вырезку из газеты с “Постановлением ЦК ВКП(б) “О журналах “Звезда” и “Ленинград”?).

Само собой, после последних публикаций в “Молодой гвардии” и “Вопросах литературы” кардинально переменялось отношение “общества” и к Кожину.

“Круглый стол” в “Молодой гвардии”, посвящённый Льву Толстому, стал ещё одним поводом для ожесточённых нападок на журнал. Константин Симонов, как рассказывал Кожин Лобанову, кипел от негодования “славянофильским сборищем”, которое “перетолковывало толстовскую эпопею на шовинистический лад”... Но одно дело — слухи и “закрытые письма”, и совсем другое — открытая полемика в печати. Помните фразу Феликса Кузнецова, брошенную молодым “неославянофилам”: “Я за то... чтобы выйти на прямой спор, в котором, я убеждён, вы не выиграете”? И этот прямой спор, посвящённый наследию славянофилов, состоялся в “Вопросах литературы”.

Полемика заняла несколько номеров. И центром этой полемики, безусловно, стала статья Кожина, в которой он тактично и основательно разобрал основные доводы выступивших до него оппонентов. Прежде всего, он обратил внимание на то, что “представители славянофильства... не раз отреклись от этого названия”, сославшись на слова Александра Кошелева: “Называть нас следовало не славянофилами, а, в противоположность западникам, скорее, туземниками или самобытниками”.

Действительно, самый существенный признак направления, которое именуют славянофильством, состоит вовсе не в “любви к славянам”, а в утверждении принципиальной самобытности исторических судеб и культуры русского народа — в сравнении и с Западом, и с Востоком”.

Обозначив эту принципиальную мысль, Кожин перешёл к непосредственной полемике.

Прежде всего, он, по сути, высмеял начавшуюся дискуссию Александра Янова, у которого “славянофильство... хотя и с оговорками — возводится к идеологии непосредственных противников Петровской реформы, а своего рода завершающую его стадию автор усматривает в “черносотенной” идеологии начала XX века”. И вроде бы Кожин соглашается с Яновым, но соглашается совершенно иронически. Так, он указывает на то, что Янов “весьма сузил исторические рамки этой идеи. Ибо она достаточно ясно выразилась уже в первом из дошедших до нас памятников русской мысли — “Слове о Законе и Благодати” Илариона (XI век), нашла развитие в идеологии Третьего Рима (XV–XVI веков) и — по-своему — у сторонников так называемого древнего благочестия, выступивших задолго до Петра...”

Эта ирония была ещё сравнительно доброжелательная. Но, переходя к “славянофильству в узком смысле”, Кожин не мог не откликнуться на то, что “идею самобытности... нераздельно связывают с консерватизмом и реакционностью... Так, между прочим, поступает и А. Янов... Сама борьба западников и “самобытников” отождествляется с борьбой передового и отсталого, нового и старого, жизненности и косности...” Всё это имело самое прямое отношение не только к истории, но и к современности.

Разбирая далее тезисы оппонентов, Кожин указывал на то, что “и митрополит Иларион, ближайший соратник Ярослава Мудрого, и сторонники идеи Третьего Рима были самыми “передовыми” людьми своего времени”. Это уже не лезло, по мнению, “приличных людей”, ни в какие ворота (кстати сказать, “Слово о Законе и Благодати” оставалось тогда предметом для изучения узких

специалистов по древнерусской литературе. Кожинов, судя по всему, был знаком с этим памятником по изданию 1911 года в переложении на современный русский язык А. В. Горского). И далее, отталкиваясь от “расширительного толкования” славянофильства Яновым, указывал на то, что “очень значительная часть декабристов принадлежала к убеждённым “самобытникам”, приходившим даже к отрицанию Петровских реформ”. На то, что “не менее наглядно выразилось “самобытничество” и у многих народников, начиная с таких основоположников этого движения, как Бакунин, Огарёв и Герцен. Их былое западничество после 1848 года постепенно заменяется идеей самобытного развития России”... При этом, в отличие от Янова, готового уравнивать славянофильство с идеями, не имеющими к нему никакого отношения, он и не собирался “ставить знак равенства между декабристами, народниками и славянофилами (в узком смысле)”. Кожинов подчёркивал, что “самобытничество” вовсе не тождественно консерватизму и антиреволюционности”, вопреки тому, что, по сути, утверждали в этой же дискуссии Дементьев и Покровский, назвавший свою статью “Мнимая загадка” (то есть никакой загадки, на которую намекал Янов, будто бы нет вообще!).

“Ошибки в изучении славянофильства, – писал Кожинов, – ярко выражаются в том, что западничество вообще как-то безусловно и априорно оценивается более “высоким” баллом”. Славянофильская программа утопична, как утверждает Янов? “Но разве западническая идея пересадки на русскую почву европейских порядков не оказалась утопией? Или А. Янов полагает, что революции 1905-го и тем более 1917 года преобразовали Россию по образу и подобию Западной Европы?”

Это был прямой выпад в адрес тех “интернационалистов”, которые на предыдущих публичных дискуссиях утверждали, что Октябрьская революция не имеет никакого отношения к русской самобытности.

Далее Кожинов жёстко и иронично отмёл все попытки использовать понятие идеализма в отношении славянофилов как ругательный ярлык: “Сейчас было бы просто смешно, если бы кто-нибудь, говоря, скажем, о Гегеле или Шеллинге, ограничился утверждением, что перед нами идеалисты в философии и консерваторы в политике”. И пустил ядовитую стрелу в Дементьева – в его пресловутую статью “О традициях и народности”:

“Вслед за статьёй в “Вопросах литературы” А. Дементьев опубликовал статью в “Новом мире”... где, между прочим, иронически замечает, что-де ему “представляется... сомнительной затеей... попытка В. Кожинова объявить “духовной Элладой” тридцатые годы прошлого века”...”

Дементьев здесь без ссылки процитировал клыкую многими и многими статью Чалмаева “Неизбежность”. Кожинов отказался отвечать за не им написанное, но с готовностью принял дементьевский “пас”: “... Я никогда не пользовался выражением “духовная Эллада”. Но если понимать под этим “расцвет”, “подъём всей русской культуры” и “богатое и мощное движение” 30-х годов, когда были заложены самые основы национальной культуры всемирно-исторического значения, можно бы употребить и данное выражение...”

“... В статьях А. Дементьева и С. Покровского проблема славянофильства, по существу, даже не затронута”, – утверждал Кожинов. И был абсолютно прав. По существу, дементьевская статья был многостраничной вариацией на его давнее заключение 1951 года: славянофильство – это “дворянская реакция на развитие... освободительного движения”... Пройдут годы, а характеристики, по сути, не изменятся: “благочестивые крамольники”, “ретроспективно-утопические романтики”, “поборники реакционно-националистических тенденций”, “представления славянофилов о народе благородны и либерально половинчатые, даже охранительны”... В таком духе вещали Валерий Кирпотин, Уран Гуральник, Василий Кулешов... И не они одни.

Но полемика – полемика, а не ради неё Кожинов взялся за перо. Ради главного – того, ради чего и писал своё сочинение.

“Суть славянофильства – в утверждении принципиальной самобытности России, её образа жизни, её культуры и в особенности самой русской мысли”. Славянофилы “продолжали именно “платоновскую” линию, которая, как они доказывали, определяла движение русской мысли с самого момента принятия христианства и развитие которой никогда не прерывалось”. Далее он цитировал Ивана Киреевского из статьи “О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России”: “Из них (монастырей. – С. К.)...

разливался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества... Вспомним, что некоторые из удельных князей XII и XIII века уже имели такие библиотеки, с которыми многочисленностью томов едва могла равняться тогда на Западе библиотека Парижская, что многие из них говорили на греческом и латинском языке так же свободно, как на русском... Несмотря на то, что уже полтора столетия прошло с тех пор, как монастыри наши перестали быть центром просвещения... русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, ещё уцелел... в низших классах народа”.

Опираясь на Киреевского, Кожинов снова и снова подчёркивал, что “самобытное русское мышление, которое, по мнению славянофилов, опиралось, в отличие от западного, не на аристотелевскую, а на платоновскую традицию, представляло, с их точки зрения, необходимую, главную и исключительно ценную реальность русской культуры”. Что “прежде чем критиковать западные толкования идей славянофилов, необходимо глубоко изучить их философское наследие... Нет сомнения, что славянофилы были идеалистами. Однако ведь и самый яркий противник идеализма не может отрицать, что в русле идеалистической мысли, начиная с Сократа и Платона, родилось множество глубоких и необходимых для человечества философских открытий”.

Борис Егоров, образованный и вроде бы хорошо знающий предмет филолог, в статье “Проблема, которую необходимо решить” писал, что славянофильский идеал заключался “в сохранении патриархальных основ, уходящих корнями в быт и нравы допетровской Руси”. Кожинов со всем основанием возражал: “...Цельная концепция славянофилов не предполагала какого-либо воскрешения древних “основ” и тем более быта и нравов. Славянофилы ни в коей мере не собирались как-то “архаизировать” современную жизнь и культуру; они стремились лишь к тому, чтобы жизнь и культура полнее и всестороннее прониклись тем самобытным содержанием, которое, по их мнению, значительно более полно воплощалось в жизни допетровской и особенно домонгольской Руси. “Европеизация” России загнала это содержание внутрь, в глубины народной жизни. Но славянофилы считали, что оно вполне способно жить и в современных формах бытия и сознания, что оно совместно и с железными дорогами, и с новейшей наукой и философией... Невозможно без горечи думать о том, что даже у весьма образованных людей при слове “славянофилы” возникает сейчас представление о каких-то безнадёжных старовеерах, мечтающих о возрождении допотопного быта и нравов. Мне приходилось, например, сталкиваться с настоящим изумлением по поводу того, что Хомяков обладал выдающимися техническими познаниями, что он получал в Англии патенты на свои изобретения, а его размышления об энергетике, о “прямых” и “возвратных” силах превосходят современные технические идеи и, в частности, ракетную технику (речь идёт о работе А. С. Хомякова 1845 года “Письмо в Петербург”. — С. К.).

Никакого “староверства” нет, по существу, и в основных философских исканиях славянофилов — это искания людей, стоящих на уровне современной мировой философии-научной мысли”.

Полемизируя с Кожиновым, старейший исследователь славянофильства С. Дмитриев впал в некоторый ступор: “Полной загадкой — полагаю, что не только для меня, — подлинной “землёй неведомой”... должно признать “славянофильство” времён давным-давно прошедших, времён от XI и до XVIII века включительно. Позвольте, изумитесь, читатель, да были ли таковые?... Кожинову и площадка от XVII до XX века (яновская “площадка”. — С. К.) мнится суженой, тесной. Опираясь таким фантомом, как “общая идея самобытности”, он считает возможным усматривать “славянофильство” в широком смысле (ох, уж этот широкий смысл!), ни мало ни много как — с одной стороны — уже в “Слове о законе и благодати” (так у С. Дмитриева. — С. К.) митрополита Илариона, с другой — в некоторых современных группировках эмиграции, восходящих к “сменовеховцам”, “евразийцам”, “младороссам” 20–30 годов XX века. Итак, тысячелетнее славянофильство, от XI до XX века включительно!” Передёргивание и искажение мысли Кожинова здесь было слишком очевидно. Янов в своём заключительном слове пошёл ещё дальше: “Оказывается, в “тысячелетней традиции самобытности”, какую развивали ещё митрополит Иларион, состоявшие при Ярославе Мудром, равно как и апогеты “третьего Рима”, состоявшие при Иване III и т. д. Да как же может “специфическая сущность” консервативной утопии 40-х годов XIX века совпадать с сущностью

идеологий XI или XV веков, порождённых иными социальными структурами, иными режимами, иной национальной проблематикой, попросту иными историческими эпохами?” Вздвораживший себя Янов намеренно делал вид, что не понял Кожина: “Если же под этим следует понимать нечто в духе крайних “самобытников” прошлого века, то есть что предполагается существование какого-то специфически русского способа мышления, принципиально отличного от европейского (эта мысль Янову кажется совершенно дикой. — С. К.), руководящего совсем иными правилами и не подчиняющегося общепринятой (! — С. К.) логике, то тогда следовало хотя бы разъяснить читателю эти правила. Поскольку иначе мы рискуем просто не понять друг друга...”

Янов и не собирался понимать. Вооружившись цитатами из Ленина, он пошёл в атаку на всех участников дискуссии, очевидно давая понять, что он, с одной стороны, лучше понимает вождя мирового пролетариата, чем “замшелые архаисты” Покровский, Дементьев и Кулешов, а с другой — безусловно, либеральнее и прогрессивнее Кожина, который “выяснил” вопрос в том, совместим ли расцвет культуры с деспотизмом”, и установил, что “время деспотической деятельности Николая I и его Третьего отделения” было не только не худое, но очень даже полезное для русской культуры время”.

Янова буквально трясёт от слова “Благодать”, в которое он намеренно вкладывает сугубо политический примитивный смысл. “В. Кожин и не намерен скрывать, что провозглашённая им вслед за передовым митрополитом Иларионом “благодать”, лежащая в основе самобытничества, ровно ничем не отличается от той “благодати”, которая лежала в основе николаевского режима...” И далее лишь усиливает свой либерально-безграмотный нажим — здесь его выступление, по сути, ничем не отличается от выступлений вроде бы критикуемых им “охранителей”: “. . . Главная, быть может, сила николаевской “Эллады”, управляемой деспотической благодатью, заключается в том, что она искала и находила своё высшее освящение, свою верховную функцию в русской “самобытности”, в авторитете истории и национального предания, в “гении нации”, как пояснил сам верховный деспот. . . “Самобытники” . . . сделали гигантскую попытку очистить “самобытность” от “благодати”, которую снова хочет наполнить её В. Кожин. . .” “Да, — ещё пуще несётся дальше Янов, — в конечном счёте славянофильство выродилось в махровое черносотенное “самобытничество” Шарапова и Маркова 2-го. . .”

Читая всё это, Кожин мог только поражаться тому, какие интересные зигзаги выписывает отечественная мысль на протяжении десятилетий и какие интересные повторения здесь встречаются. На протяжении своей статьи он неоднократно цитировал Герцена, прорисовывая эволюцию его взглядов, историю его сближения с казалось бы непримиримыми идейными противниками. И тут — на тебе! — взгляд падает на письмо Герцену западника Тургенева: “Ты мистически преклоняешься перед русским тулупом, и в нём ты видишь великую благодать, и новизну, и оригинальность будущих общественных форм. . .”

. . . По следам дискуссии в “Вопросах литературы” писал свою статью и Анатолий Ланщиков, обозначив заголовке её главную тему: “Вопросы истории — вопросы современности”.

Вот как он потом вспоминал о её дальнейшей судьбе:

“На страницах периодических изданий она уже не нашла места, так как обстановка резко изменилась, начались гонения на журналы “Новый мир” и “Молодая гвардия”, всякие споры и дискуссии, особенно касающиеся исторического прошлого, стали, мягко говоря, нежелательными”.

Они были не особо желательными и позже. Из книги, которая была сдана в 1974 году в издательство “Современник” и вышла в 1978-м, эта статья также была изъята и напечатана лишь через 20 лет после написания. Надо сказать, что это был наиболее исторически оснащённый материал из всех, опубликованных на данную тему.

“. . . Нынешние противники славянофилов, — писал Ланщиков, — видят, а, точнее, хотят видеть в них родоначальников любого национализма, правда, национализм при этом. . . рассматривается как абстрактная, внеисторическая и внеклассовая категория. . .” И далее он приводил самые сочные примеры из статей участников дискуссии:

“Упрямое противопоставление православной Руси прогнившему Западу, с его борьбой классов, с революциями и конституциями. . . — пронизывало

собой почти все писания славянофилов. Эта националистическая пропаганда вела к обособлению народов, к разжиганию национальной вражды” (С. Покровский).

“...Славянофилы развивали не национальное самосознание, вырабатывали не национальную, а националистическую идеологию... Передовая общественная мысль России не имела к выработке националистической идеологии никакого отношения...” (А. Дементьев).

“...Националистическое высокомерие одерживало у них верх... У славянофилов мессианизм России противопоставлялся всему европейскому, как растленному” (В. Кулешов).

“Национализм славянофилов проявлялся и в их высокомерном отношении к другим народам, в их представлении о преимуществе “русского мира” перед западным, православной церкви перед католической, равно как и в их мессианском представлении о русской нации в целом, как о “богоизбранной” (“народ богоносец”), и что особенно важно – в их настойчивом стремлении закурить Россию и обособить её от всего человечества” (С. Машинский).

“На все эти высказывания, – писал Ланщиков, – можно привести десятки цитат из работ славянофилов, опровергающие брошенные в их адрес обвинения... Всем нынешним рыным обличителям славянофильства свойствен один методологический порок. Сходясь на мысли, будто славянофилы стремились “закурить Россию и обособить её от всего человечества”, они-то как раз и проделывают работу, которой, по их мнению, якобы занимались славянофилы. Во-первых, в своём анализе славянофильства они искусно отделяют процессы тогдашней русской действительности от общеевропейских процессов – во всём противопоставляя Россию остальной Европе (будто тогда существовала какая-то пан-Европа). Во-вторых, согласно их модели, общественная мысль России могла развиваться абсолютно самостоятельно, нигде не соприкасаясь с общим ходом европейской мысли...”

Славянофилы никогда не противопоставляли Россию Западу в том смысле, которого... придерживаются их многие сегодняшние критики (как наши, так и зарубежные... В России есть много хорошего и много дурного. На Западе также есть много хорошего и много дурного... Они (славянофилы. – С. К.) огорчались тем, что мы усваиваем, как правило, чужое дурное (оно легче усваивается) и отказываемся от своего хорошего, а за дурное держимся (так тоже легче)...”

Поистине – “вопросы современности”. Всё это имело самое прямое отношение к сегодняшнему дню... И далее Ланщиков подробно писал о том, как “борьба с наполеоновским нашествием вызвала настоящий взрыв национального самосознания и национальной гордости у народов, попавших под господство французов”, о возрождении ордена иезуитов, который “всегда боролся с любым проявлением национально-патриотических чувств”... “Я понимаю, – делал критик промежуточный вывод, – современное звучание слова “национализм” весьма затрудняет прочтение этого слова в его изначальном смысле, однако вряд ли на этом основании было бы целесообразным отказываться от его употребления в разговоре о той эпохе, которая возродила его к жизни... Национализм в эпоху, породившую славянофилов и западников, был явлением прогрессивным (не беря крайностей, впрочем, как и крайностей других явлений), и любое революционное движение (или учение) тех лет было тоже окрашено в той или иной мере в его цвета...” К месту пришли и слова Белинского: “... Без национальностей человечество было бы мёртвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели остаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики”.

Ланщиков недоумевал – как критики “монархизма славянофилов” могут при этом восхвалять и защищать от них Петра I (любимого императора Николая I), при котором фактически и было легализовано крепостное право. “Только литература XIX века, – писал он, – повернувшись лицом к народу, прониклась тем освободительным духом и той социальной чуткостью, что легли в основу её великого нравственного поиска. И не случайно именно в XIX веке началась критика Петра I (об этом писал и Кожин, указывая на критику петровских реформ... декабристами. – С. К.)... пусть не всегда

удачная и глубокая, но очень симптоматичная для того времени, когда речь зашла не о долге дворянства перед государством, а о долге дворянства перед крестьянством... Славянофилы вовсе не призывали бороться с революциями, они скорее призывали не доводить дело до революций, а это не одно и то же...

Вывод Ланщикова был попросту убийственным для многих участников разговора, обнаруживая их чрезвычайно примитивный уровень мышления и элементарное незнание предмета: "И уж совсем не следует "поднимать Белинского за счёт славянофилов или, наоборот, славянофилов за счёт Белинского: ни Белинский, ни славянофилы от этого не "поднимутся", но уж наверняка опустится уровень разговора о предмете, о котором и так сохранить достойный его уровень не очень-то просто. Не стоит выстраивать и один ряд от славянофилов до черносотенцев, совершенно игнорируя тот факт, что между первыми и последними нет никакой связи..."

Думается, сейчас начинается какой-то новый период освоения исторического прошлого. И нам предстоит не только освоить традиции прошлого, но продолжить и развить их в новых исторических условиях..."

Читая эту статью и готовя её для публикации в журнале "Москва" в 1989 году, я неоднократно жалел, что она не была опубликована в своё время, — очень многое в том споре встало бы на свои места. Тем более в обстановке, когда "круглый стол" в "Молодой гвардии", посвящённый "Войне и миру", и выступления Кожина, Егорова, Иванова-Скуратова в "Вопросах литературы" по общим смысловым константам корреспондировали между собой. Тем более в то время, когда наравне с погромными поношениями "неославянофилов" в открытой печати создавались небезытересные тексты для "узкого круга", в которых можно было прочитать буквально следующее:

"...И страсть, и ненависть к отчизне" ("Возмездие") — вот что такое любовь Блока к России. Этому учил Чаадаев, учила вся русская культура. Любить свою родину — значит ненавидеть всю скверну, прижившуюся на ней, а особенно — *вжившуюся* в неё скверну. Не инородная, а народная грязь, ставшая частью тела и души народа, — вот первый предмет ненависти для того, кто любит свою страну.

Это хорошо знали когда-то и западники, и славянофилы. Но этого не дано понять "молодой гвардии" нынешних почвенников.

Сейчас много разновидностей национально-мыслящих. Некоторые из них лелеют в душе своей образ секретаря-упыря, ждут новоявленного Верховного Главномампирствующего; иные видят во сне батюшку-царя (не в пример благороднее). Одни хотят царя вкупе с "Союзом Михаила Архангела", другие — без него. Далеко не все кровожадны. Иные съедят гуся в день тезоименитства либо убиения государя императора — и утешены: чем не фронда! Таких и жена уважает (идейные), и начальство не обижает (безобидные). Это — "Союз Меча и Орала". Это — опереточная разновидность источно-посконных.

У всех почвенников есть нечто общее. Никто из них не происходит от русской культуры. Заплечных дел мастера — порождение российско-монгольской дикости. А мастера дел опереточных — продукт российской исторической несостоятельности; они — жертвы аборта, испытанного Россией (извлечение настоящей интеллигенции). Они — жертвы и потому вызывают жалость; но их шутство, их безвкусице, бездарность — граничат с хамством..."

Это из сочинения литератора и диссидента, одно время редактора подпольной "Хроники текущих событий" Анатолия Якобсона, человека способного и думающего, но, поистине, одержимого иррациональной ненавистью к русским писателям, в открытой печати выражающим свои взгляды, тем самым, как казалось ему и его единомышленникам, "перехватывающим" у них "инициативу", "выигрывающим конкуренцию" и при этом уводящим русскую мысль "не туда", в сторону от прогресса, от культуры индивидуальности, от западных "свобод".

Дело даже не в привычном для либералов перевирании Чаадаева, не в весьма пошлой карикатуре на русских патриотов, нарисованной Якобсоном. Дело в интереснейшей мысли, которую он сформулировал: "Не инородная, а народная грязь, ставшая частью тела и души народа (выделено мной. — С. К.), — вот первый предмет ненависти для того, кто любит свою страну".

По логике мысли диссидента — необходимо из любви к стране провести кардинальную операцию: удалить ту самую часть, а ещё лучше — целиком “тело и душу народа”, чтобы заменить её новыми... Через десятилетия подобная логика будет взята на вооружение новой российской властью.

По рукам пошло стихотворение Наума Коржавина с замечательным названием “В защиту прогресса”:

*Когда запрягут в колесницу
Тебя, как скота и раба,
И в свисте кнута растворится
Нерайская с детства судьба.
И всё, что терзало, тревожа,
Исчезнет, а как — не понять,
И голову ты и не сможешь,
И вряд ли захочешь поднять,
Когда все мечты и загадки,
Порывы к себе и к звезде
Вдруг станут ничем — перед сладкой
Надеждой: поспать в борозде.*

.....
*Тогда, — перед тем, как пристрелят
Тебя, — мол, своё отходил! —
Ты вспомни, какие ты трели,
На воле резвясь, выводил,
Как, следуя голосу моды,
Ты был вдохновенье само —
Скучал, как дурак, от свободы
И рвался — сквозь пули — в ярмо.*

.....
*И нас от сдирания шкуры
На бойне — хранят, отделив,
Лишь хрупкие стенки культуры,
Приевшейся песни мотив...
И вот, когда, смыслу переча,
Встаёт своеволя волна
И слышатся дерзкие речи
О том, что свобода тесна,
Что слишком нам равенство тяжело,
Что Дух в мельтешенье зачах...
Тоска о заветной упряжке
Мне слышится в этих речах.
И снова всплывает, как воля,
Мир прочный, где всё — навсегда:
Вес плуга... Спокойствие поля...
Эпический посвист кнута.*

Злоба и злорадство просто хлестали из каждой строчки. И смысл не нуждался в особых комментариях: “в ярмо”, “под кнут” рвутся новые “славянофилы”, “ненавистники прогресса” в своих “исторических исканиях”. Туда им и дорога!

(А через несколько месяцев ещё одна диссидентка, сотрудница ИМЛИ Раиса Орлова запишет в своём дневнике: “Холодный ужас теперь приходит не с мыслями про тюрьмы и обыски, а с мыслями о Палиевском и Кожинове. Руситы — реальная современная идеология. И дело зашло очень, очень далеко... Всё наше — обломки давно потонувших и никому не нужных атлантис. Рядом то ли русские, то ли еврейские, то ли армянские националисты. Растущее одиночество”.

...Пройдёт двадцать с лишним лет, и в тех же “Вопросах литературы” появится ещё одна серия статей о славянофилах, автор одной из которых, И. Кондаков, в заключении своего сочинения придёт к неоспоримому выводу: “... Собственно западническая идеология в принципе и не могла укорениться

на российской почве... Фактически западничество как таковое (его классическими представителями были, кажется, только Т. Грановский и К. Кавелин) не стало культурно-идеологической альтернативой славянофильству, будучи маргинальным, внутренне неустойчивым и не укоренённым в жизни и культуре явлением...

* * *

Дискуссия в “Вопросах литературы” стала предметом живейшего обсуждения не только в родных палестинах, но и за их пределами.

В эмигрантском журнале “Грани” два года спустя появилась статья некоего Вл. Павлова “Споры о славянофильстве и русском патриотизме в советской научной литературе 1967–1970 гг.”. Автор начал с того, что “к сожалению (его личному сожалению, а также, очевидно, и всей “третьей эмиграции”. — С. К.), имеются признаки того, что определённая часть партийного руководства решила поддержать ультранационалистические течения”... Далее, отталкиваясь от этого тезиса, не имеющего на самом деле ничего общего с реальностью, он разобрал публикации в журнале “Молодая гвардия”, на страницах которого “в псевдославянофильских выражениях часто и открыто провозглашается мировая миссия русского народа, его культуры и языка”, — и далее переходил к разговору о наследии славянофилов. Касательно конкретно статьи Кожинова Павлов всё же пытается сохранять необходимую объективность: “Кожинов верно отмечает, что славянофилы настаивали на том, чтобы русский народ в своём сознании продвигался вперёд, в будущее, а не назад, в прошлое... Кожинов мужественно стремится к пересмотру места и значения славянофильства в истории русской культуры, ищет подлинного толкования учения ранних славянофилов, стремится познать причину подъёма их творчества... Кожинов оспаривает мнение Янова и некоторых других, что самым уязвимым местом славянофилов была их так называемая утопическая программа...”

...Пройдёт полтора десятилетия, и в американском издательстве “Эрмитаж” выйдет коллективный сборник статей “За чей счёт?”, где представители “третьей эмиграции” по-чёрному будут сводить счёты между собой, и одно из центральных мест в сборнике займёт статья Михаила Агурского, направленная против уже давно находившегося “за кордоном” Янова. Агурский ничтоже сумняшеся объявил Янова “единомышленником” и Кожинова, и Анатолия Иванова-Скуратова — также участника той дискуссии. Вот уж эти “обвинения” воистину отдавали явной фальшью — Агурский мог лишь рассчитывать на то, что, кроме него, никто материалов той давней дискуссии не читал: “...Надо знать место Кожинова в советской общественной жизни. Дело в том, что он является давно уже одним из интеллектуальных лидеров русского национализма, и Янов это отлично знал... Но со свойственной Янову “честностью” он в этой связи Кожинова не упоминает. А Кожинов приветствовал Янова в 1969 году, включая и его идею о преемственности “черносотенства” от славянофильства... Кожинов легко согласился... с весьма спорной идеей, согласно которой “черносотенство” вытекает из славянофильства, но потому лишь только, что, вероятно, для него “черносотенство” не является величиной отрицательной, и он рад был возможности через дверь, открытую Яновым, узаконить его вместе со славянофильством...”

Как Кожинов “приветствовал” Янова, как он “легко соглашался” с ним и как Янов “приветствовал” Кожинова — мы уже видели. Мысли Вадима Валериановича будут перевернуть и в печати, и в устных беседах ещё не десять и не двадцать раз, но любопытно следующее: через два десятка лет Кожинов выйдет на прямой диалог с Агурским, а ещё позже возьмётся за книгу о черносотенцах, которая окажется ошеломляющей по своей неожиданности как для друзей, так и для врагов.

...А тогда в отечественных пенатах Кожинову усиленно клеили ярлык “русского националиста” и шептались о “поддержке частью партийного руководства”...

Отреагировали и “старые знакомые”. К Бахтину в Малеевку приехал Леонид Пинский. На вопрос Михаила Михайловича: “Как там Вадим Валерианович?” — Пинский разразился бешеной тирадой. Он заявил, что Кожинов в своих статьях оправдывает тиранию и деспотизм, что он залез в “националистическое

болото”, что таким образом он пытается сделать карьеру, но не понимает, что здесь он ничего не выиграет и ему будет только хуже (!)... Когда Кожинов навестил Бахтиных, Елена Александровна пересказала ему весь этот разговор. Михаил Михайлович несколько раз пытался её прервать, но она не останавливалась и договорила всё целиком. И Кожинов, кажется, даже спустя много лет, рассказывая об этом, не мог до конца успокоиться:

“Меня... сначала поразила нелепость представления о том, что мой путь продиктован каким-либо “карьеризмом”: ведь взгляды, которые я разделял, беспощадно “разоблачали” в то время и “правый” (на тогдашнем языке) “Октябрь”, и “левый” “Новый мир”, и “центристский”, точнее – цекистский “Коммунист”. Но тут же я испытал чувство возмущения от того, что давно и близко знающий меня Леонид Ефимович может подозревать меня в каком-то карьеризме, – меня, который никогда не занимал никаких “постов”, не получал – в отличие от большинства литераторов – никаких премий и наград, не стремился стать ни доктором наук, ни членом КПСС...”

С тех пор я не имел желания встречаться с Леонидом Ефимовичем, хотя продолжал общение с рядом людей его круга...”

(Кстати, ещё до этой встречи, когда Бахтин лежал в Кремлёвской больнице, Кожинов приехал к нему вместе с Владиславом Поповым и привёз гранки бахтинской статьи “Эпос и роман”, которая вскоре появилась в “Вопросах литературы”. Пропуск был заказан только на имя Кожинова, и Вадим Валерианович отдал его Попову, зная, насколько значимой будет эта встреча для молодого учёного. Сам же остался ждать и ждал около четырёх часов – пока Бахтин просматривал гранки, вносил правку и беседовал с посетителем. И во время этого разговора Михаил Михайлович, читавший материалы дискуссии о славянофилах, назвал статью Кожинова лучшей из всего опубликованного.)

Проявился и Лотман, правда, негласно. Он “оттянулся” на полную катушку в письме к Борису Егорову. “...Боже, на каком уровне ведётся дискуссия в “Воплях”! Кожинов в теоретической статье уверяет, что Улыбышев был декабристом, а Кюхельбекер – членом “Общества соединённых славян”. Источники ошибки ясны до трогательности: Улыбышев включён Щипановым по неграмотности в “Избранные философские произведения декабристов”, а Кюхельбекер в этом издании расположен рядом (!!!) с “Соединёнными славянами”. Он пишет, не только не зная элементарных вещей, но и прочесть не может – некогда! Я хотел дать в “Вопли” реплику, но раздумал: я уже раз с Кожиновым спорил – этак решат, что я вовсе пошёл по кожной специализации. Вообще же всё это – мура, и спорить с ними нет никакой возможности. Беда не в невежестве – у кого его нет! – а в полном отсутствии добросовестности мысли, в продажности насквозь”. Вообще-то Улыбышев (действительно, не состоявший в тайных обществах) был членом “Зелёной лампы”, его имя фигурировало в показаниях декабристов, его утопия “Сон” присутствовала во всех хрестоматиях среди декабристских манифестов, и декабристом его называла авторитетнейший исследователь этой темы Милица Нечкина. Что же касается Кюхельбекера, то он, действительно, вопреки утверждению Кожинова, состоял не в Обществе соединённых славян, а Северном тайном обществе (Кожинов, кстати, при перепечатках своей статьи никогда не исправлял эту ошибку – он считал, что некогда написанное должно существовать в литературе в том виде, в каком играло роль при первой публикации). Но на этом Лотман, как видим, не остановился, обвинив Кожинова в “отсутствии добросовестности мысли, в продажности насквозь”... Доказательства? Их нет и быть не может. Но Лотман, мстя за давнюю полемику по вопросам структурализма, сдерживать себя уже не желал.

Ладно, “продажность”... Дементьев не остановился перед фактическим обвинением Вадима Валериановича в фашизме. Во дворике Института мировой литературы бывший заместитель Твардовского приступил к младшему “коллеге” с разящим вопросом. “А Вы знаете, чем почва пахнет?” Намёк был прозрачен до полной ясности. Дементьев всем своим видом говорил: “Кровью!” – отсылая к нацистскому лозунгу “кровь и почва”.

Кожинов глазом не моргнул:

– Знаю, Александр Григорьевич. Перегнем!

Иной раз случались истории воистину комические.

Как-то Кожинов столкнулся лицом к лицу с правовернейшим марксистом, работником журнала “Проблемы мира и социализма” уже знакомым нам Юрием

Карякиным. Карякин с ходу приступил с “обезоруживающим” вопросом: может ли автор статьи “О главном в наследии славянофилов” сформулировать в одной фразе своё кредо? “Могу и в одном слове, – ответил Вадим Валерианович. – *Реставрация*”. “Что вы имеете в виду?” – тут же вмешался в разговор присутствовавший при нём человек, вид которого явно наводил на мысль о службе в определённых структурах. “Да реставрацию, чёрт возьми! – тут же отреагировал Кожин. – Вот мой идеал!”

Он был убеждён, что никто из собеседников не увидит скрытой цитаты, заложенной в его игре слов – цитаты из статьи Чалмаева “Неизбежность”, выражавшего крайнее недовольство тем, что в иных кругах “реставрация” опережает “реставрацию”.

Но надо себе представлять, как прозвучала кожиновская “реставрация” в то время – в промежуток между 50-летием Октябрьской революции и 100-летием В. И. Ленина, – когда сама власть опасалась внешне претворять в жизнь что-либо “революционное” и одновременно когда тот же Агитпроп насаждал в искусстве и литературе “революционные мотивы”, в том числе в песенном творчестве, когда изо всех радиоприёмников и прочих “утюгов” с утра до вечера разносилось и “вбивалось” в мозги сограждан, в том числе и неокрепших подростков: “Есть у революции начало, нет у революции конца” или “И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди”, что, кстати, целиком и полностью отвечало упованиям так называемых “шестидесятников”...

... В это же самое время “Вопросы литературы” с кожиновскими статьями читали, не до конца веря своим глазам, и в совершенно особом месте в совершенно особой среде. В Пермском лагере для политических заключённых.

Вот как об этом вспоминал на самой первой конференции в Армавире, посвящённой памяти Кожина, главный редактор журнала “Москва”, а тогда – получивший шесть лет лагерного срока член Всероссийского социал-христианского союза освобождения народов Леонид Иванович Бородин:

– Моё знакомство с Кожинным состоялось заочно. Впервые его фамилию я увидел... пребывая в местах, далёких от Москвы. Это был 1968 год, если я не ошибаюсь. Был у меня такой друг лагерный, Юрий Галансков – вы знаете, может быть слышали эту фамилию. Он пришёл в мой барак с журналом... со статьёй Кожина и сказал: “Вот почитай, потом поговорим”. Вот так впервые я познакомился с Вадимом Валериановичем. Потом уже каждая публикация, абсолютно каждая – ведь мы имели возможность в лагере выписывать всю литературу, абсолютно всю, все журналы, все газеты, распределяя их между собой, – и каждую публикацию Кожина я прочитывал, мы прочитывали...

Двадцать с лишним лет спустя Бородин уже в очной беседе в редакции журнала скажет Кожину, Палиевскому и Ланщикову: “Благодаря вам мне открылись национальные идеи. Не националистические, а национальные”. То, что он сказал, – чрезвычайно значимо и для нынешнего дня.

Тогда же, 23 июля 1969 года в “Литературной газете” появилась статья Кожина “Национальная литература: прошлое или будущее?” Похоже, авторы нынешних толстенных фолиантов, записывающие Кожина в “русские националисты”, не имеют об этой статье (или делают вид, что не имеют) ни малейшего представления.

Уже тогда, наслушавшись шёпота за своей спиной и начитавшись разных материалов, безбоязненно искажающих его точку зрения, Кожин напрямую высказался и по этому жгуче современному вопросу:

“Общечеловеческая культура – это не что иное, как непрерывный многосторонний диалог неповторимых национальных культур, диалог, который и даёт ей жизнь. Если он прекратится, прекратится и развитие общечеловеческой культуры...”

Не менее существенна и другая сторона дела. Отрицание национальной культуры неизбежно подразумевает решительный разрыв с прошлым, отказ от национальной памяти... Мертвенность однообразия и гибельность “беспамятства” во многом обусловили теперешний подъём национального самосознания. Казалось бы, он закономерен и оправдан. Тем не менее находятся люди, которых этот подъём возмущает или пугает, ибо они рассматривают его как выражение национализма или хотя бы его предвестие...

Национализм – абсолютно ложная идея уже хотя бы потому, что достоинство того или иного народа не может быть оценено однозначно в какой-либо

данный момент истории. Ибо история знает поразительные национальные взлёты и падения. Многим деятелям западноевропейской культуры первой половины XIX века, снисходительно поучавшим русских “варваров”, и не снилось, что уже их внуки или даже дети будут жадно воспринимать уроки русской литературы, музыки, театра. А мог ли кто-нибудь на Западе ещё десять-пятнадцать лет назад поверить, что придётся брать уроки технического прогресса в “средневековой” Стране восходящего солнца?

Национализм – это злокачественная опухоль на здоровом теле национального сознания. Это корыстная спекуляция на национальных чувствах народа, которая вредна и враждебна подлинным интересам нации и неизбежно оборачивается предательством национальных интересов. Именно таким предательством был гитлеризм – хотя бы уже потому, что он послал немецкую молодёжь на верную смерть в чужих полях ради осуществления своих авантюристических планов. Настоящим предательством интересов нации является и националистическая политика клики Мао Цзедуна. . .”

Далее, приведя большую цитату из выступления 1936 года полузабытого к тому времени Ивана Катаева, опубликованного (кстати, не полностью) в его только что вышедшей книге избранной прозы (“Русское искусство существует, оно живёт в своих национальных формах. . . Эти несложные вещи приходится говорить потому, что ещё недавно в литературной среде находились люди, которые подобное замечание заклеями бы как проявление народничества, славянофильства, русопятства или пустили бы в ход ещё более крепкие слова. . . Уж, разумеется, русского искусства эти “западники” и “цивилизаторы” никак не выносили. . .”), Кожин провёл очевидную параллель между русофобами 1920–1930-х годов и нынешними. Вспомнил о том, как 13 июля того же года принимал участие в церемонии над восстановленными надгробиями братьев Киреевских в Оптиной пустыни (они были восстановлены во многом по его инициативе, но в газетном тексте он вынужден был заменить Оптину пустынь Козельском, на чём железно настояла редакция). Но и на этом не остановился, бросив серьёзное обвинение в адрес многих своих так называемых “единомышленников”, увлечённых “модой на простонародность”:

“Самосознание русской культуры осуществилось в эпоху Пушкина. Трудно назвать достаточно развитую в его время национальную литературу, которой бы он так или иначе не коснулся в своём творчестве. Но только плоский ум видит в этом “заимствования”. Пушкин не подчинялся другим литературам, а овладевал их “языками” (разумеется, “языками” не в лингвистическом, а в художественном и философском смысле). Благодаря этому русская литература смогла воспринять высшие достижения других литератур и в то же время стала внятной для них. . .

Обо всём этом необходимо сказать потому, что сейчас появилось много литераторов, для которых подъём национального самосознания в литературе означает главным образом возврат к фольклорному наследию и к “архаическим” и простонародным речениям. Однако всё это уместно лишь в том случае, если данная стихия глубоко органична для писателя и просвечена высоким и всеобъемлющим смыслом. Это характерно, например, для таких писателей, как Б. Шергин, Ю. Помозов, В. Старостин, которые, на мой взгляд, образовали сейчас своего рода “школу”.

Но сколько развелось ныне авторов, которые, крича на каждой странице, что они русские, бессмысленно щеголяют архаическими словечками и фольклорными образами, составляя в конечном счёте совершенно искусственные поделки “а ля рюс”! Вся суть здесь, собственно, в том, что “архаизация” оказывается чисто самоцелью. Этим авторам кажется, что, обратившись к фольклорным темам и образам, они тем самым автоматически становятся подлинными русскими художниками, хотя уже Гоголь совершенно точно сказал в 1834 году: “. . . Истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа” . . .

Мне уже приходилось говорить на страницах “Литературной газеты” о так называемой “деревенской прозе”. И я стремился, прежде всего, подчеркнуть в своей тогдашней статье, что действительно ценны те произведения этого течения, которые создаются не ради самоцельного изображения “патриархальной” жизни, а ради углублённых духовных исканий (развивающихся сейчас, кстати, не только в рамках сельской темы) . . .

И уж совсем нелепо считать, так сказать, “менее русскими” тех писателей и поэтов, в творчестве которых многовековые традиции воплотились в глубоко преобразованном и переосмысленном виде. Так трансформировались, например, фольклорные образы русской природы в поэзии Тютчева или напряжённая духовность древних апокрифов и исповедей аввакумовского склада в творчестве Достоевского”.

Кожинов пытался вразумить иных своих не слишком умных и образованных современников, противопоставляющих “национального” Кольцова “проникнутому немецкой культурой” Тютчеву. Он объяснял, что “Кольцов весьма серьёзно приобщался к немецкой философии и, кроме своих “песен”, написал несколько “дум”, весьма близких к поэзии Тютчева...” Он внушал: нельзя забывать, как это делают иные авторы, о том, “какие громадные изменения произошли в русской национальной жизни за последние полвека — со времён революции...” В своём послые он был воистину историчен и абсолютно “антинационалистичен”, так что, лишь потеряв последние остатки совести (если она вообще была), можно назвать Кожинова “националистом”.

* * *

Из дневника С. Семанова:

“В Дзинтари (латвийский курорт. — С. К.), живя бок о бок с разными чужаками, ещё раз понял, что главное в России — это так наз[ываемый] “национальный вопрос”. Здесь заложены центробежные силы России, сюда будут бить “т[овари]щи”.

Но русская национальная тема становилась всё более и более актуальной и в связи с серьёзнейшими внешними вызовами.

Отношения СССР с Китаем испортились уже после доклада Хрущёва на XX съезде партии. Однако через несколько лет выяснилось, что дело здесь не только и не столько в идеологии.

Впрямую встал вопрос о границе. 10 июня 1964 года Мао Цзэдун на встрече с японской делегацией заявил:

“Сто лет назад Россия уже отняла у Китая Владивосток, Хабаровск и Камчатку. Это наши территории, которые сегодня оккупированы. Этот счёт нами до сих пор ещё не закрыт. Поэтому лично моё мнение — Курильские острова должны быть возвращены Японии”.

Во время “культурной революции” СССР был объявлен единственным врагом Китая. Таким образом был дан сигнал США — Китай меняет свой внешнеполитический вектор.

А в марте 1969 года начались бои на острове Даманском между частями китайской регулярной армии и советскими пограничниками. И тогда же на всю страну прогремело известие о подвиге младшего сержанта, командира отделения пограничной заставы Нижне-Михайловской Юрия Бабанского. 2 марта китайцы расстреляли из засады группу пограничников во главе с начальником заставы старшим лейтенантом И. Стрельниковым. Бабанский, взяв на себя командование группой оставшихся на заставе пограничников, повёл её в атаку — его группа выдержала бешеный огонь крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов, миномётов и артиллерии. После того как с помощью огня из артиллерийской системы “Град” китайцы были отброшены на свою территорию, Бабанский ещё более 10 раз ходил в разведку на остров с поисковой группой, нашёл расстрелянную группу Стрельникова, под дулами автоматов и пулемётов противника организовал эвакуацию оставшихся в живых, а в ночь с 15 на 16 марта обнаружил тело героически погибшего начальника погранотряда полковника Д. В. Леонова и вынес его с острова...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года младшему сержанту Ю. В. Бабанскому присвоено звание Героя Советского Союза.

Бои шли не только на Даманском. Вооружённые столкновения продолжались и в “Джунгарских воротах”, и ещё в течение двух лет с перерывами — на Памире с применением артиллерии и стрелкового оружия. В общем, создавалось впечатление, что СССР находится на грани полномасштабной войны с маоистским Китаем.

С мая по сентябрь 1969 года советские пограничники ещё 300 раз открывали огонь по нарушителям границы в районе Даманского. За две недели

боёв в марте месяце было убито 58 советских воинов, 94 получили тяжёлые ранения.

Увы, эти жертвы в конечном счёте оказались напрасными. Дабы не обострять отношения с Китаем дальше, советское правительство попросту сдало остров “восточному соседу”.

Немаловажно знать, что абсолютное большинство “собратьев” по “Варшавскому договору” рука в руку с зарубежными компартиями встали на сторону Китая, видимо, считая обвинения “китайских товарищей” в адрес СССР в “ревизионизме” совершенно обоснованными. Более того, Китай весьма жёстко отреагировал на “оккупацию” Чехословакии, во всём, естественно, обвинив Советский Союз.

... В Ростове-на-Дону, где летом того же года в присутствии Шолохова, космонавта Волынова, первого секретаря ЦК ВЛКСМ Тяжелыникова и Юрия Бабанского состоялось очередное выездное заседание “Русского клуба”, Кожинов в конце одного из торжественных застолий поднялся с бокалом в руке:

— Я провозглашаю тост во славу Александра Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова. Я прошу всех выпить за их наследника, героя-лейтенанта Бабанского!

Как вспоминал Семанов, “обвал оваций, который пожал Вадим, вряд ли кому доставался на самых людных собраниях”.

Этот выезд “Клуба” был длительным и насыщенным. Он проходил в официальных рамках “советско-болгарского клуба”, созданного как культурно-молодёжное подразделение ЦК ВЛКСМ и Союза Дмитровской молодёжи Болгарии. Обратимся опять же к воспоминаниям Сергея Семанова:

“... Возглавил его тогда завпропагандой ЦК Валерий Ганичев. Он обладал двумя необходимейшими качествами политического деятеля — решительностью и умением прикрыть реальные дела бюрократической стеной. Мы убеждены, кстати, без этих качеств ни у кого ничего в России не получится (что и видно на бессчётных примерах последних лет и десятилетий). Ганичев ловко провернул интригу с болгарской стороны, а соответствующие бумаги были оформлены с бюрократической безупречностью, то есть бесцветно, словно речь шла о каком-то очередном мероприятии...”

И вот теперь можно твёрдо заявить, что самой яркой, наиболее запомнившейся личностью среди всех... лиц во времена расцвета нашего “Клуба” был, несомненно, Вадим Валерианович Кожинов. Лёгкий в движениях, быстрый и пластичный, с приятной внешностью и хорошо поставленным баритоном, он всегда обращал на себя внимание, даже когда молчал. А уж какой он был оратор и полемист, не стоит даже вспоминать, это знают все. Добавим сюда блестящее образование, игру на гитаре, знание бесчисленных песен и романсов... Недаром Вадим был и остаётся постоянным героем интеллигентского фольклора”.

Поездка началась с Тифлиса. “Когда открылись дебаты, и очень оживлённые, — это опять Семанов, — то от болгар мы услышали вдруг ссылки на уже позабытый нами “исторический XX съезд”, словеса о том, что народ есть не только носитель традиций, но и вынужден тяжко трудиться, жалобы, “как трудно проходил в Болгарии Брехт”, и всё такое прочее, что было для нас уже скучным вчерашним днём. С нашей же стороны раздавались крутые речи о сбережении и развитии традиционной культуры и нравственности, резкое поношение модернизма во всех формах и проявлениях, включая таких “социалистических” классиков, как Мейерхольд, Эйзенштейн и сам Брехт”.

После этого в отечественный МИД из болгарского посольства пришла соответствующая “телега” с изложением замечаний о происшедшем зав. отделом пропаганды ЦК ДКСМ В. Вытева: “Товарищи Палиевский, Ушаков (сотрудник ИМЛИ. — С. К.), Михайлов и Семанов в своих толкованиях о советской культуре занимались возвышением достоинств только одной русской культуры, ничего не говорили о национальных культурах других народов России. Их позиция вызвала отрицательную реакцию у представителей Грузии и Армении. Как сказал тов. Вытев, характерным в выступлениях сов. товарищей было “пренебрежение к интернациональным чертам и задачам искусства”; по утверждению этих же товарищей, в сов. искусстве 20-х годов были одни неудачи, надолго остановившие развитие сов. культуры. В подтверждение этого упоминалось творчество Эйзенштейна. По мнению выступавших сов. товарищей, Эйзенштейн не фигура в советской кинематографии, а главный

герой в кинофильме “Броненосец “Потёмкин” народ — это толпа, которая следует за отдельными вожаками... К тому же никто из советских товарищей на последнем заседании ни одного слова не сказал о предстоящем юбилее В. И. Ленина...”

Эта докладная записка попала в руки к Тяжельникову, тот, прекрасно понимая последствия, которые неминуемо были бы, если бы документ попал в “чужие руки”, отправил его Анатолию Никонову для официального “закрытого” ответа. Никонов с помощью Семанова составил этот “ответ”, после чего бумага снова легла на стол Тяжельникову. “Формальные меры” были приняты, а очередной удар от русских патриотов удалось отвести.

Сами же писатели от души гуляли и в Тбилиси, и в Батуми, и в Ростове-на-Дону. Для этого были в стране созданы все “условия”. В конце 60-х в СССР пили в десятки раз больше, чем в пресловутом 1937 году. Тогда алкоголиков состояло на учёте 2 200. В 1970-м — 200 000 человек. А по другим данным — по внутренней статистике — в стране их было зарегистрировано семь миллионов.

Деревня тихо спивалась от ощущения полной бесперспективности. В городах, особенно в “гегемоне” — рабочем классе — картина была соответствующая. Владимир Лакшин оставил яркую запись в своём дневнике на этот счёт:

“...Пьянство — опиум народа... Дело тут даже не в забвении, а в иллюзии освобождения себя хоть на вечер, хоть на час от того, чем человек опутан. За стойкой или столиком, хватанув стакан водки и беседуя с приятелем, работяга получает иллюзию, что живёт для себя: не для предприятия, цеха, перевыполнения плана и т. п. и даже не для семьи — детишек и жены, которая ждёт дома пропиваемую им получку, а именно для себя. Это его час, его веселье — откровенность его пьяной болтовни, где можно послать ко всем чертям и опостылевшее начальство, и общий бардак и т. п., где он не чувствует себя связанным, — и хоть заплетающимся неверным языком, но может поделиться чем-то своим, задушевым.

Пьянство — это возмещение идеала, последняя лазейка для проявления человеческого “я”, лишённого мелкой расчётливости и суетных забот дня. Вот почему с ним ничего нельзя сделать — ни запретить его, ни ограничить...”

Ещё в начале 1960-х об этом же, глядя вокруг себя, написал пронзительные стихи Анатолий Передерев:

*Люди пьют
Самогон и водку,
Спирт, перцовку, портвейн, коньяк.
Шевеля кадыками,
Как воду,
Пьют — напиться не могут никак.*

*Не беду,
Не тоску разгоняют,
Просто так
Соберутся и пьют,
И не пляшут совсем,
Не гуляют,
Даже песен уже не поют.*

*Тихо пьют.
Как молятся — истово.
Даже жутко —
Посуду не бьют...
Пьют артисты и журналисты
И последние смертные пьют.*

.....
*Люди пьют...
Все устои рушатся —
Хлещут насмерть,
Не на живот —*

*Разлагаются все содружества,
Все сотрудничества
И супружества, —
Собутельничество живёт.*

Эти страшные и горькие стихи ещё не имели отношения ни к самому Передрееву, ни к другим писателям “кожиновского круга”... Да и в самом “Русском клубе” застолья были шумными, весёлыми, с обязательным хорошим пением. Любимой песней, по сути, гимном клуба была песня на слова А. С. Пушкина, певшаяся в белой гвардии (там, очевидно, и была сочинена мелодия). Её всегда запевал Сергей Семанов, а остальные упоённо подтягивали:

*Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.*

*Так громче музыка, играй победу!
Мы победили — и враг бежит, бежит, бежит.
Так за Царя, за Родину, за Веру
Мы грянем громкое “ура”, “ура”, “ура”!*

Вадим Валерианович, впрочем, сплошь и рядом терял чувство меры. В Батуми он гулял на полную катушку, сопровождаемый негодующими репликами непьющего Палиевского. Впрочем, в какой бы “форме” Вадим Валерианович ни находился, он мгновенно брал себя в руки, когда дело доходило до выступления — и выступал всегда блестяще, ни на мгновение не теряя нить основной мысли. Марк Любомудров вспоминал, как на очередной конференции в 1970 году в Смоленске, куда Кожинов отправился с очередной своей “дамой сердца”, Вадим Валерианович “гудел” от души.

“Участвовали и генералы, воевавшие в Великую Отечественную войну: Ротмистров, Чистяков, Степан Красовский и другие. Лучшими, помнится, оказались выступления С. Семанова и В. Кожинова.

На сцене, в президиуме, Вадим сидел впереди меня. Он находился в очень тяжёлом, физически разобранном состоянии. Его едва ли не под руки привели и посадили на место. Сидел он как-то неустойчиво, голова падала на грудь, мутные глаза. На мои попытки пошевелить его за плечо (мне показалось, что он заснул) Кожинов не реагировал. Я с ужасом ожидал неотвратимого скандала, когда объявят его выступление. Мои соратники-москвичи, однако, сидели весьма невозмутимо.

Наконец, ведущий назвал фамилию Кожинова. И тут на моих глазах свершилось чудо. Вадим вдруг встрепенулся, быстро встал и твёрдой походкой прошёл к трибуне. И сразу заговорил уверенно, внятно, напористо, властно подчинив себе зал. Нужно ли напоминать, что никаких бумажек в руках у него не имелось. Это была великолепная, сверкающая импровизация. Оратор говорил о значении военно-патриотической литературы в общественной жизни. Окончив и сорвав оглушительные аплодисменты, Вадим столь же уверенно, даже молодцевато дошагал до своего стула, опустился на него и — снова погрузился в оцепенелую дремотность. Я не верил своим глазам и ушам. Передо мной свершилось нечто невероятное, какое-то необыкновенное перевоплощение. Какой же огромный ресурс — силы духа, воли, интеллекта — таился в этом человеке!

Этот эпизод меня поразил и заставил ещё раз восхититься талантом Вадима, его способностью моментально отмотилизоваться, собрать себя в кулак в любых сложных обстоятельствах. Но было и от чего огорчиться. Вадим злоупотреблял алкоголем, к тому же он невероятно много курил. Сколько может выдержать организм такие перегрузки? Как оказалось, запаса хватило ещё на тридцать лет!”

А тогда, в 1969-м, возвращаясь из Ростова-на-Дону на самолёте, в небе над Краснодаром Семанов встал и объявил:

— Господа! Мы пролетаем над местом гибели генерала Корнилова. Прошу всех встать!

И все встали по стойке “смирно”. Кроме Петра Палиевского, который никогда, насколько я знаю, не играл в эти “белогвардейские игры”.

* * *

...А битва за историю и современность одновременно продолжалась.

В начале 1970 года в “Молодой гвардии” появилась статья кандидата исторических наук Андрея Николаевича Сахарова “История истинная и мнимая”. Автор весьма живо описывал “игры с историей” на страницах современных периодических изданий и научных фолиантов: “Историю “пытают”, в ней “сомнутся”, то берут в союзники и свидетели, то с проклятиями отвергают. Истории поклоняются, историей грозят. Одни и те же исторические оценки одновременно являются и дружественным паролем, по которому узнают соратников, и своеобразным casus belli, заставляющим хвататься “за оружие”. С фанатической страстностью к истории обращаются сегодня действительно “все”, кто появляется на ниве отечественной литературной критики и публицистики...”

И далее историк подробно и вьедливо описывал “плоды” этой “фанатической страстности”. Прежде всего, он привёл слова Гоголя из письма к Языкову: “Бей в прошедшем настоящее, и тройною силой облечётся твоё слово. Прошедшее выступит живее, настоящее объяснится яснее”. И далее процитировал комментарий к этим словам из книги Л. Черепнина “Исторические взгляды классиков русской литературы”: “. . . писателю, “если он одарён творческою силою создавать собственные образы, следует прежде воспитаться как гражданину земли своей, а потом уже братья за перо...” (кстати, книгу Л. Черепнина высоко ценил Анатолий Никонов, который с радостью принял статью Сахарова, видя, какой “вивисекции” подвергается отечественная история в публицистике и критике того же “Нового мира”). И говоря о новомирской рецензии на эту книгу А. Формозова, наслаждавшегося “современностью каждой цитаты”, Сахаров отчётливо видел тенденцию: “Эмоциональный порыв художника превращается в рассудочную программу критика. Прошедшее предстаёт перед нами, как пассивное и послушное начало, покорно принимающее в угоду современному “ваятелю” удобные ему формы...”

“Бей в прошедшем настоящее!” – тенденция нынешнего либерализма, которую историк с полным основанием усматривал во многих и многих печатных выступлениях нынешних “Грацианских”, вспоминая антирусские погромы середины-конца 1920-х годов. . . “Сегодня вновь возрождается односторонний взгляд на русскую историю только как на “тишину могилы”, “тюрьмы”, “виселицы”, “нагайки”, как на “пожар лютости”, который, по словам А. Курбского, занялся на Востоке. . . Ах уж этот Восток! – горько-иронично вздыхал Сахаров. – Сколько раз о его безобразиях писали на интеллигентном милом Западе с его издревле обретенными демократическими порядками. Зловредный, деспотический Восток проклинали в ту пору, когда западные хронисты освящали крестовые походы ливонских рыцарей против прибалтийских племён и северо-западной Руси, когда Россию как национальное государство отталкивали от морей Балтийского и Чёрного, захватывали Псков, Смоленск, объявляли польского королевича владыкой Руси, душили национально-освободительное движение украинского народа. . . А сколько слов о необузданной дикости россиян было сказано буржуазной пропагандой в период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны – этого, наверное, не учтёт никакая статистика. Крупный вклад в развитие концепции о “дикарях с Востока” внесла гитлеровская пропаганда. . .”

Но пора от истории переходить к современности, к нашим животрепещущим проблемам. К тому, какой “операции” подвергается отечественное прошлое на “столах” современных публицистов. “И. Крамов в статье “В поисках сущности” (“Новый мир”, 1969, № 8), посвящённой творчеству А. Платонова, видит русскую историю первой четверти XVIII века лишь сквозь свист кнута и насилие над личностью. Бедная “личность”: сегодня о ней пекутся нередко для того, чтобы завтра посмеяться над ней, уничтожить презрительным словом. . . И. Крамов. . . рисует русского человека как существо permanently забытое, духовно скванное, не знающее “дерзости свободного человека” Западе. . . И будто не было на Западе Бастилий и аутодафе, будто в Англии не

выжигали клейма на лбу бродягам, которые ещё вчера были добропорядочными йоменами... будто не заливал кровью герцог Альба бунтующие Нидерланды, не расстреливали из ружей конкистадоры Франсиско Писарро наивных инков. А африканская работоторговля, мрачные и тайные преступления флорентийских правителей, изуверское палачество Людовика XI? Неужели всему этому европейцев научили варвары с Востока? И. Крамов не сумел увидеть в русском народе, в русском человеке той самой индивидуальности, о которой он так печётся”.

“Обличители” 20-х годов доморощенные нигилисты Пролеткульта, РАППа, “На посту” на этом фоне кажутся просто плоскими шутниками, — вздыхает Сахаров. — Сегодня их взгляды, являвшиеся антидиалектическими догмами уже в первые годы социалистического строительства, значительно модернизированы. Они используются и развиваются в отдельных изданиях в применении к нынешним временам. Призыв “Бей в прошедшем настоящее!” стал намного богаче по содержанию. Он означает не только прежний догматически-нигилистический удар по отечественной истории, но и применение старого оружия к самым современным историческим ситуациям”.

И дальше он разбирает — основательно и беспощадно — наиболее “вкусные” новомирские публикации. Рецензия историка В. Кобринна на книгу “Московская и бытовая письменность XVIII в.”. Казалось бы, вполне мирная тема? Не тут-то было! Новомирский автор сумел использовать её “по максимуму”: “Режим деспотизма калечил и извращал души. Человек был ничем, государь и государство всем. Человек приобретал терпение и терял достоинство. Терпение помогало создавать в стране обстановку страха. Страшно не донести... Страшно попасть в опалу ни за что ни про что”. Сахаров читает и недоумевает: “Да неужто вот так и жили? А куда же подевались вдруг “бунташные” черты XVII века: грандиозное восстание в Москве 1648 года... восстания в Пскове и Новгороде, “медный бунт” 1662 года, крестьянская война под предводительством С. Разина, стрельецкие бунты?... Куда же подевались факты яркого экономического прогресса страны: складывание всероссийского рынка, возникновение и развитие новых городов, вовлечение русского оборочного крестьянства, особенно в северных районах страны, в кипучий поток торговой и предпринимательской деятельности?... Характеризуя весьма односторонне жизнь середины XVII века, В. Кобрин озабочен тем, чтобы и в наше просвещённое время не повторились порядки той Руси, которую он увидел своим “историческим” зрением: “Мы во многом другие, чем люди XVII века, мы часто спорим с ними, но всегда понимаем (отменное “понимание”, ничего не скажешь! — С. К.). Ведь триста лет — это не так много. Всего десять поколений”. Эх, народу бы ваши заботы, уважаемый коллега, — печально качает головой Сахаров, — как просто и весело было бы жить на земле!”

Конечно, историк не мог пройти мимо знаменитой уже тогда статьи Лакшина “Посев и жатва”, посвящённой “драматической трилогии” (“Декабристы”, “Народовольцы”, “Большевики”) драматурга-шестидесятника Михаила Шатрова. “Вот что он пишет о второй четверти XIX века: “Ледяным холодом несёт, когда заглянешь в эти грядущие николаевские годы. Над Россией опустится долгая ночь, и подлость будет торжествовать свою победу” (излюбленный мотив, идущий ещё от Тынянова).

“Послушаешь некоторых авторов, — пишет Сахаров, объединяя все “жуткие” мотивы различных критиков и публицистов “либерального” направления, — не история, а кошмар какой-то. “Террор Ивана Грозного”, “опоясывающий Россию свист кнута” во времена Петра I (заметим попутно, что Бироновщину — эту диктатуру иностранцев на русской земле — почему-то эти критики обходят), “дворянская диктатура Екатерины II”, “реакция Павла I”, “аракчеевщина”, “николаевская реакция” и т. п. И нет в отечественной истории ни одного просвета. Можно, конечно, пойти по пути формальной логики и спросить: реакция по сравнению с чем, “ледяной холод” в сравнении с какой другой исторической температурой?”

Коснулся Сахаров и ещё одного — вроде бы сугубо исторического, но при этом абсолютного современного, буквально кипящего, вопроса. “Снова после долгого перерыва всплыла на поверхность норманнская теория происхождения Древнерусского государства. Цитируя знаменитую легенду из “Повести временных лет” (“Изгнаша варяги за море, и не даша им дани, и начаша сами в себе володети, и не бе в них правды, и вста род на род. И реша сами

в себе: “Поищем себе князя, иже бы володел нами и судил по праву”. И идя за море к варягам, к руси...”), Сахаров камня на камне не оставлял от этой снова вошедшей в обиход в родных палестинах теории: “Разве мог знать древний монах, что в XVIII веке служившие в Петербурге историки Байер, Шлецер и Миллер, не обратив внимания на многочисленные сведения той же древнейшей летописи о государственности у славян задолго до появления варягов, на бесчисленные упоминания понятий “Русь”, “руссы”, связанных с местной, славянской историей, заявят, что эта запись неопровержимо свидетельствует о неспособности славян создать собственное государство, об их дикости и варварских обычаях по сравнению с тогдашним Западом... Советские историки аргументированно доказали, что народ “рус” был известен ещё в VI веке...”

Ах, если бы эта теория “активно пропагандировалась в наполеоновской Франции, кайзеровской Германии”, была на вооружении у “советологов” Гарварда и современных “отфоршереров” в ФРГ, как отмечал Сахаров. В это время достаточно охотников “порезвиться” на ниве нашего исторического прошлого находилось и в отечественных пенатах. Один пример: рецензия некоего С. Новикова на книгу А. Л. Монгайта “Надпись на камне” всё в том же “Новом мире” (трудно было не увидеть соответствующую тенденцию!) с однозначным утверждением о “подложности” надписи на “Тмутараканском камне”: “Появилась эта находка уж слишком вовремя, когда правительство Екатерины II было заинтересовано в том, чтобы объявить исконно русскими захваченные у турок земли”. До такого, кажется, не договаривались и бухаринские “историки”-русофобы начала 1930-х, воистину кажущиеся “плоскими шутниками”. “Это, действительно, новое слово в истории, — с трудом сдерживает хладнокровие Сахаров. — Северное Причерноморье, эти издревле скифские, а позднее славянские земли, входившие в состав Тмутараканского княжества, были отвоёваны султанской Турцией и Крымским ханством у России в те годы, когда русский народ задыхался под татаро-монгольским игом... Так можно договориться и до того, что исконно турецкими землями являются земли нынешней Советской Армении, Грузии только потому, что они какое-то время находились под игом султанской Турции, и те земли Азербайджана, где некогда властвовали персидские шахи — тоже “захваченные земли”. Вправду, на такое пойдёшь только без зазрения исторической совести!”

Сахаров отверг (явно с голоса А. Дементьева) определение 30-х годов XIX века, как “духовной Эллады” России. Но при этом высоко оценил кожиновские статьи об этой эпохе в целом: “В. Кожинов правильно уловил противоречивость эпохи, её, так сказать, парадоксальность, которая состояла в том, что в пору действительно глухой реакции раскрываются прогрессивные экономические и духовные силы общества, опирающиеся на общее прогрессивное поступательное развитие русской истории, раскрываются вопреки всем сдерживающим субъективным рогаткам. Такова диалектика истории...”

Интересная деталь: эта статья Андрея Николаевича Сахарова даже не упоминается в нынешних томах о клятых “русских националистах” и “палачах” “Нового мира”. Разумеется, её не поставишь рядом ни с “письмом одиннадцати” в “Огоньке”, ни с “Письмом токаря Захарова”, адресованным Твардовскому в “Социалистической индустрии”. Её просто нет, она отсутствует во всех описаниях тогдашних политических и культурных перипетий — и это, в общем, объяснимо. Слепить из Андрея Николаевича Сахарова “русского националиста”, противника “благородного либерализма” и всяческого “прогресса” мудрено любому нынешнему “историку”, напяливающему на себя маску “объективности”.

Думается, Кожинов едва ли был согласен с сахаровской мыслью о “глухой реакции”, якобы вопреки которой совершалось “прогрессивное поступательное развитие русской истории”. К этому времени он с полным основанием утвердился в мысли о неразрывности отечественного бытия и высших достижений отечественной культуры, что было невдомёк, как видим, и весьма умным и образованным людям... Но многое в этой статье будило мысль, многое побуждало к анализу — и многие затронутые Сахаровым темы позднее найдут у Кожинова своё развитие и свою интерпретацию — от “призвания варягов” до “татаро-монгольского ига”...

Эта статья стала предметом обсуждения в прениях по докладу Феликса Кузнецова “Ленинская концепция русского освободительного движения

и освещение её в современной критике”, состоявшихся в Московской писательской организации 6 апреля 1970 года.

Цитировать этот доклад, приводить многословные рассуждения Кузнецова о ленинском учении о “двух культурах”, о непреходящем значении “революционно-демократической традиции” в нашей литературе (о которой Кузнецов говорил с повышенным эмоциональным напряжением, как будто защищая её от нападающих “врагов”) нет смысла. Гораздо интереснее познакомиться с некоторыми выступлениями, прозвучавшими после кузнецовской речи.

Массированную атаку на “Молодую гвардию” начал Валентин Оскоцкий:

— В целом, думаю, что эта статья историка является статьёй апологетической, где-то защищающей выступления журнала “Молодая гвардия”, когда все выступления оппонентов, включая и выступления в “Литературной газете”, относятся к пролеткультовской ультрареволюционности, вульгарному социологизму, догматическому подходу к отечественной истории.

Не говорю уже о том, что пора изъять из нашего обихода такие приговоры, — здесь что ни слово — то приговор.

...Как-то неловко напоминать, что... просветы, о которых печётся автор статьи, разумеется, они есть в русской истории. И они связаны с именами Радищева, декабристов, Белинского, Герцена, и вообще с русской литературой и искусством, которые выразили накал общественной мысли России. Иными словами, не реакция самодержавия, а противодействие этой реакции несло просветы в отечественную историю... Схематизм авторского взгляда (кто бы говорил о схематизме! — С. К.) оборачивается насилием, в котором приходится уличать специалиста-историка.

И несколько следующих выступлений подряд варьировали те же самые тезисы, и так продолжалось до тех пор, пока не взял слово Вадим Кожин:

— Не в порядке выступления, а совершенно искренне я скажу, что не собирался сегодня выступать, но, прослушав доклад Феликса Феодосьевича, ощутил желание выступить, потому что его доклад носит ярко выраженный методологический характер, а мне когда-то глубокоуважаемый Геннадий Николаевич Поспелов привил такой жгучий интерес к методологии, что я никак не могу от него избавиться. Мне и захотелось поговорить о методологических основах доклада Ф. Кузнецова.

Его выступление было ярко эмоциональным — он сам это признал, все это слышали, — и это у всех также рождало волнение. В то же время есть в нём свои односторонние и свои отрицательные стороны, особенно если речь идёт о докладе методологическом. Сейчас с особенной остротой ощущается, что нам пора говорить уже не только эмоционально. Так чаще всего выступают, и эти выступления больше всего ценятся, а пора уже говорить спокойно и трезво.

Ф. Ф. Кузнецов сказал, что он говорит с волнением, потому что много лет изучает историю русского освободительного движения и не может без волнения говорить о перипетиях этого освободительного движения. Это, конечно, прекрасно, но задумайтесь над тем, что здесь уже нужна какая-то зрелая трезвость.

Русское революционное движение победило, и уже пятьдесят два года мы пожинаем плоды этой победы. Может быть, сейчас мы находимся уже на какой-то вершине, когда можно спокойно и трезво объяснить и понять многие вещи, которые, естественно, в разгар этого движения, в его кульминационные пункты не нужно, невозможно, в конце концов, может быть, и кощунственно было бы анализировать таким образом.

Вот Ф. Кузнецов говорил такую вещь, что история наша просматривается, начиная от Разина и кончая Октябрьской революцией. Безусловно, это так, безусловно, это центральная и самая существенная сторона нашей истории. Но нельзя забывать, что была и другая история, в частности, была история русского государства, которая потрясалась бунтами, начиная от Степана Разина. Не надо забывать, что та самая революционная энергия, самые её плодотворнейшие результаты — подъёма народной жизни — совершались в русском государстве, и как бы оно ни препятствовало, оно за это ответственно. И не надо забывать, что, начиная с XVII века, Россия выросла в великую страну, одну из величайших в мире и по культуре, и по человеческим ресурсам, и по всяким другим. И величайшая в истории революция могла совершиться в этой стране потому, что, пусть при противодействии государства,

но это совершилось в этом государстве. И когда Ф. Кузнецов говорит об освободительном движении, я не могу отделаться от такой вещи: вот, скажем, был пугачёвский бунт, и Пугачёва пленил А. В. Суворов. Вот сейчас – представьте на суд истории, – что бы сделал с Суворовым Ф. Кузнецов? Приговорил к расстрелу? Повесил? А ведь Суворов был не какой-нибудь лакей царской власти...

Надо посмотреть относительную историческую правоту обеих сторон в этом громадном историческом споре, который проходил перед всем миром. Когда Суворов пленил Пугачёва (причём он отнёсся к нему как к достойному противнику), Суворов понимал, что делает это для того, чтобы спасти русское государство, только что вставшее на ноги, от этого бунта, который Пушкин называл бессмысленным, несмотря на то, что “он дал впоследствии какие-то плоды”. Он не дал никаких плодов. И Ф. Кузнецов, если он марксист, знает это. Этот бунт был без всяких плодотворных последствий. Пушкин показал красоту и величие Пугачёва. Но нельзя забывать, что Суворов после долгих и бесплодных сражений с Пугачёвым взял его...

Всегда лучше рисковать, когда говоришь о спорных вещах, – рискну и я. Есть одна из мерзких фигур в русской истории – Аракчеев. Но ведь Аракчеев был человеком, который создал русскую артиллерию, причём эта артиллерия превосходила французскую... Ему никто не приказывал – это была его собственная инициатива, воля, энергия, причём энергия, исходившая из него самого, – повторяю, ему никто не приказывал. Есть отзывы, которые восхваляют его за этот подвиг. И сами французы признают, что русская артиллерия в это время превосходила французскую. И может быть, благодаря этому мы выдержали натиск всей Европы, может быть, мы были бы разбиты ещё под Смоленском.

Вот я помню – один мой знакомый сделал передачу по телевидению, и нашлись люди, которые, руководствуясь той методологией, которой руководствовался и Ф. Кузнецов, обвинили его во вредных тенденциях, потому что он сказал, что Сергей Глинка, издававший журнал “Сын Отечества”, сыграл огромную роль в разгроме Наполеона.

В рецензии на эту передачу было сказано, что – как же так, этот журнал “Сын Отечества” боролся с французской революцией! Оказывается, если продолжить эту линию, то те, кто стоял насмерть при Бородино, должны были думать о спасении французской революции.

О таких вещах странно забывать. Я всегда вспоминаю слова А. Одоевского: “Ах, как славно мы умрём!” А кто такой был Милорадович? Это был один из лучших героев 1812 года, от которого зависела победа под Красным. Это был человек великодушный и благородный, который должен был вызвать Пушкина и сказать: “Я пришлю жандарма, чтобы он посмотрел, что у тебя на столе”. И он умолял царя пощадить Пушкина. Может быть, поэтому Пушкин и не был сослан, а был послан в Кишинёв с письмом, в котором было сказано, что он гениальный поэт. Конечно, я всё это нарочно заостряю.

Ф. Кузнецов с пафосом цитирует различные высказывания революционных демократов. Но не надо забывать – когда были эти высказывания. Я не хочу сказать, что тогда они были правы, а теперь эти высказывания неверны. Просто их дело победило, и теперь мы можем увидеть другую сторону, увидеть ту силу, против которой они боролись. Иначе – это юношеские вопли, продолжающиеся неизвестно зачем. Мы 52 года пожинаем плоды этой победы – и почему мы должны так говорить о самодержавии, когда нет того самодержавия, которое было до 1917 года? Почему мы должны метать гром и молнию вместо того, чтобы объективно разобраться в этой истории? Даже в “Комсомольской правде” появилась замечательная статья корреспондентки газеты, которая побывала в Горьковском университете. Там работает замечательный историк Пугачёв.

Тут же последовали реплики с места:

– Он давно там уже не работает.

– Он работает в Саратовском университете.

(Владимир Пугачёв был изгнан из Горьковского университета после ареста четырёх его студентов по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. С одних из них, поэтом Владимиром Жильцовым, судьба свела меня уже на склоне его лет. Эта история впрямую коснётся Кожина в самом скором времени.)

Не обращая на всё это внимания, Кожинов продолжал:

— В своих лекциях он говорил, что Николай I осуществил все реформы, за которые ратовали декабристы, кроме отмены крепостного права. И он встречал ожесточённое сопротивление дворянства. Нелепа формула Щедрина, что последний градоначальник въехал на белом коне и упразднил гимназии. Николай I открыл больше университетов в России, чем было до его царствования.

Я призываю только к объективной трезвости, отсутствие которой мешает говорить о существе дела. Ну что мы будем сейчас заклинания произносить!

Я часто говорю Феликсу Кузнецову: вот ты начал изучать публицистов пост-“Современника”, а ведь это были крайне односторонние люди, которые критиковали всех.

Конечно, Чернышевский и Добролюбов люди гениальные. Но один из последователей “Современника” написал, что “Преступление и наказание” — самое позорное сочинение, а другой написал о “Войне миров”, что это философия застоя.

Что это за довод: “Как можно ссылаться на Страхова, когда его критиковали Писарев и революционные демократы!” Но ведь Писарев критиковал и Пушкина. Что это за довод: “Ах, он реакционер!” А разве Платон не был крайний реакционер, которого изгнали Афины? Аристотель не мыслил себе человеческого существования без института рабства. Гегель был апологетом прусской монархии. А если эти три имени выкинуть — мало что останется от дореволюционной философии.

Феликс Кузнецов не включил сюда зрелого Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тютчева. Всё это гораздо сложнее. Чернышевский, на которого мы молимся, говорил же, что “история за Невским проспектом”.

Что же произносить заклинания, что есть история революционного движения, и всё, что из этого выпадает, неприемлемо, что стыдно, неприлично (на одном из обсуждений была и такая фраза) обращаться к каким-то другим именам?

Когда в 1935 году было решено издать “Бесов” Достоевского, известный покойный критик Заславский выступил в “Правде” с гневной отповедью, что мы собираемся издать гнусный роман, и т. д., и т. д. Горький произнёс тогда прекрасные слова: “Почему такой страх? Советской власти нечего бояться”.

Правда, роман так и не был издан тогда. Но пора перестать бояться.

В этом выступлении было всё: и ядовитая ирония, и показная “игра в поддавки”, и интеллектуальный напор, и безукоризненные силлогизмы... По существу, никто из присутствующих возразить так и не смог, последующие выступавшие отделялись лишь придирками к отдельным фразам. Кожинов и в этой ситуации вышел победителем.

(Продолжение следует)